

ЗАГАДКА ТУРГЕНЕВСКОГО ПОРТРЕТА

Майским утром 1887 года профессор Московского университета Климент Аркадьевич Тимирязев с женой Александрой Алексеевной и семилетним сыном Аркадием вошел в квартиру номер 29 первого этажа старинного московского дома в Шереметьевском переулке (ныне улица Грановского) и прожил в ней более тридцати шести лет.

Энциклопедически образованный, в совершенстве владевший пятью европейскими языками, в том числе и латинским, он был полон творческих стремлений бескорыстно служить науке и помогать земледельцу России выращивать два колоса, где прежде рос один. Этот жизненный постулат он изложил в книге «Жизнь растений», которая имела огромный общественный резонанс и переиздавалась 20 раз у нас в стране и за рубежом.

Всматриваясь в трудовой жизненный путь большого ученого, можно сказать, что все его научные работы являются блестящим развитием эволюционной теории в применении к растительному миру. «Растение, — говорил Климент Аркадьевич, — посредник между небом и землею».

После своей кончины в 1923 году Аркадий Климентович передал все трудовые сбережения и имущество в дар Москве.

Правительство России высоко оценило многогранную деятельность ученого и приняло постановление «О сохранении в неприкосновенности кабинета, библиотеки и рукописей покойного Климента Аркадьевича Тимирязева». В Москве ему поставлен памятник работы скульптора Сергея Меркурова.

Родные ученого — жена Александра Алексеевна и сын Аркадий, ставший профессором физики Московского университета, бережно сохранили всю обстановку в квартире, которая ныне является Музеем К.А. Тимирязева.

В кабинете по-прежнему стоит массивный стол из красного дерева, на котором лежит незаконченная рукопись книги «Солнце, жизнь и хлорофилл»; рядом стоит старое кресло с вытертой на сиденье кожей. В этом кресле сидели Лев Толстой, Владимир Короленко, Антон Чехов, Владимир Танеев, автор мемуаров «Записки писателя» Николай Дмитриевич Телешов и Максим Горький. На стенах кабинета — галерея портретов великих ученых, общественных деятелей Европы и России. В простенке в рамке светлого дерева висит портрет Ивана Сергеевича Тургенева с дарственной надписью: «Клименту Аркадьевичу Тимирязеву от автора «Отцов и детей»».

Этот портрет великого русского писателя ученый ценил очень высоко, как символ начала дружбы людей науки и искусства. История его довольно интересна и не лишена радости.

В 1862 году вышел роман Тургенева «Отцы и дети», вызвавший много шума и возбудивший столько противоречивых суждений и разговоров, что его читали даже такие люди, которые со школьной скамьи не брали книг в руки. Вокруг романа развернулась острая полемика, особенно из-за образа Евгения Базарова. Вокруг писателя возникла атмосфера травли.

Летом этого же года Тургенев писал Полине Виардо: «Он, герой, — молодой человек нерядовых взглядов — я попытался представить конфликт двух поколений, и это отыгралось на мне. Град проклятий и, надо сказать, сочувствий; иной раз не знаешь, кого слушать. Получаю комплименты, которые приносят мне боль, а с другой стороны, слышу критику, доставляющую мне удовольствие. Вообще молодые люди немного раздражены против меня».

Чтобы несколько смягчить горечь воспоминаний о той возмутительной травле, которой Тургенев подвергся после появления «Отцов и детей», прогрессивные деятели русской науки и культуры 18 марта 1863 года в честь Ивана Сергеевича устроили торжественный обед в Колонном зале гостиницы «Эрмитаж». Инициатором такой встречи был молодой ученый и литератор Максим Максимович Ковалевский.

На обеде с приветствиями выступили профессор классической философии академик Федор Корш, знаменитый русский адвокат Федор Плевако, литератор Сергей Тихомиров.

«Когда кончились речи, — вспоминает Климент Аркадьевич Тимирязев, — ко мне подходит устроитель обеда Ковалевский и просит меня сказать приветствие от имени учащейся молодежи (по политическим правилам, молодежь не могла быть сама представлена на обеде). Но я, преподаватель Петербургского университета и Петровской академии, отклонил его предложение, не имея на то полномочий, и мы порешили, что взамен того я скажу несколько слов от имени Петербургского университета молодежи эпохи «Отцов и детей», на что имея уже личное право: упомянув в нескольких словах о тех двух течениях в рядах учащейся молодежи — одном, руководимом враждебным Тургеневу литературным лагерем, и другим, малочисленным, состоящем преимущественно из натуралистов и только через несколько лет нашедшем себе представителя в литературной критике Дмитрия Писарева, — я закончил, что, по нашему мнению, Иван Сергеевич мог применить к себе слова, когда-то сказанные человеком совершенно иного закала и по иному адресу: он мог с явным убеждением сказать, что по отношению к молодежи России был «без лести предан» (известный девиз Аракчеева).

Через несколько дней также на обеде, устроенном Ковалевским в более тесном кружке, я вернулся к той же теме, указав, что Базаров — человек огромной воли, твердых убеждений, он выделяется на фоне многочисленных гамлетов, и сравнил его по общественной значимости с исторической личностью Петра Великого. Тот и другой, сказал я в заключение, были прежде всего воплощением «вечного работника», все равно «на троне» или в мастерской науки. Оба создавали, разрушая».

Когда Тимирязев закончил речь, к нему подошел Иван Сергеевич и, пожимая его руку, сказал: «Благодарю вас, профессор, вы пролили бальзам на мои старые раны» — и на фотографии написал: «Клименту Аркадьевичу от автора «Отцов и детей»».

Этот дарственный портрет писателя, по словам сына ученого — Аркадия Климентовича, отец очень высоко ценил, считал его символом священной дружбы науки и литературы.

И. КОРОТИН

подбивали его на какие-нибудь легкомысленные поступки. Вот и сейчас не иначе как через них Алексею Максимовичу пришла мысль посетить Марфу и Дарьюшку. Все домашние кикиморы, надо думать, спят, а Крючкова и Екатерина Павловны в доме нет. «Главное — не раскашляться», — подумал он вслух и вышел из комнаты.

В прихожей и вестибюле-гардеробной было темно, но парадная лестница освещена. Она нежилась в своем замысловатом древовидном и закрученном каменном логове, сияя своей красотой. Знаменитый волнообразный парапет из зелено-серого вазелемского мрамора, казалось, дышал, а голубовато-синий при дневном свете витраж сейчас агатово мерцал, точно неаполитанский ночной залив.

Горький не припомнит другого здания, в котором бы парадная лестница играла такую важную роль и была главным формообразующим фактором. Она связывает воедино верхний и нижний этажи, на нее сориентированы все коридоры и холлы, проемы и помещения и вверх, и вниз. Она встречает и провожает каждого в дом входящего, а обитателей особняка объединяет в одну семью. Благодаря лестнице дом обрел интимный характер и предназначался для элитарного жилья, но не для офиса. Недаром тут не задержалось ни одно советское учреждение, а переделке под коммуналку здание просто не поддавалось.

Прежде чем подняться наверх, Алексей Максимович заглянул в столовую, где, после кабинета, проводил большую часть времени, и в гостиную, в которой размещалась библиотека. Как и в кабинете, здесь без него ничего не изменилось.

Оглядывая знакомую обстановку столовой в бликах отраженного уличного освещения, он пожалел, что заставил убрать самый красивый в доме беломраморный камин и забелить орнаментальную роспись, украшавшую верхнюю часть стен над дубовыми панелями. Без камин и росписей комната хотя и увеличилась немного, но потеряла законченность и превратилась в заурядный зал для заседаний, каких много в Москве.

Гостиная олицетворяла собою саму красоту: по стенам — водное и надводное царство, на потолке — праздничный мир цветов, солнца и яркого синего неба. Но в эту богато и со вкусом расписанную комнату было втиснуто несколько десятков книжных шкафов под красное дерево. Шкафы не уместились в гостиную, вылезли в прихожую, забрались в секретарскую, заслонили собою витражи вестибюля, примостились на лестнице, расползлись по второму этажу...

Горький всегда испытывал сложное, противоречивое чувство, глядя на изобилие деревянных шкафов, сработанных по его собственным эскизам. Конечно, они не украшали фешенебельные апартаменты особняка. Но ему не нужна была гостиная (он — не Мережковский), нужна библиотека. Правда, он не припомнит, чтобы кто-нибудь засиживался в ней, и сам читал в кабинете или в постели, при свете лампы, подвешенной на специальный крюк. Наверное, книги, ему и в самом деле необходимые, можно было бы разместить иным способом и в ином месте. Но это дело будущего. Только есть ли оно у него? Погрустнев, Алексей Максимович стал медленно подниматься по лестнице.

В детской на столике, расположенном между двумя кроватками, горел небольшой гриб-боровик. Алексей Максимович приблизился к кроваткам, осторожно присел на одну, в которой, разбросав ручки, спала Марфинька. На другой, свернувшись калачиком и по-утиному уткнув нос в одеяльце, посапывала Дарьюшка. Алексей Максимович по очереди всматривался в любимые черты внучек, точно хотел запечатлеть их в сердце, не выдержал и Бог знает почему тихо, по-бабы, заплакал. Непритворные слезы покатались по серому, землистому лицу старика.

Вдруг писателя что-то насторожило. Он глянул вбок и увидел божественно красивую голую женскую ножку, выпростанную из-под белой полы халата и вольно покоящуюся на другой ноге, скрытой одеждой. Присмотревшись, он увидел девушку, навзничь лежавшую на диване. Косая тень от ночника скрывала небольшую головку, в мелких кудряшках, с задранным носиком. Лицо девушки не припоминалось. «Сестра-сиделка, должно быть, — предположил Алексей Максимович, — или сестра-лежалка, как строил бы Максим».

Присутствие постороннего человека в комнате вмиг разрушило сентиментальное состояние старика. Он с сожалением и стараясь не смотреть в сторону дивана, вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь.

В просторном, роскошном вестибюле второго этажа с холлами, переходами, арками, полуарками, колоннами, бесчисленными высокими украшенными дверями, освещенном прозрачным уличным электрическим светом, было, как в керчаком сосновом бору в лунную летнюю ночь, таинственно и тихо. Алексею Максимовичу вдруг страстно захотелось попасть в храм Рябушинского, точно это была последняя возможность в его жизни сделать это.

Он знал наверняка, что из вестибюля второго этажа есть незаметный узкий проход на потайную черную лестницу, ведущую в моленную, расположенную в северо-западном углу дома на третьем этаже. Он долго кружил по вестибюлю в поисках скрытого перехода, но всякий раз наткнулся на приземистую, точно оплывшую колонну красно-коричневого мрамора, у подножья которой крутились и корчилися преотвратные и противные саламандры по соседству с чудесными лилиями.

Выбившись из сил, Алексей Максимович направился к парадной лестнице и остановился у ее изголовья, чтобы передохнуть перед спуском. Похоже, Китеж скрылся от него и на сей раз, как скрылся в молодости, когда он бродил по керженским лесам.

Горький не знал, что жить ему оставалось столько дней, сколько насчитывалось мраморных ступенек, по которым ему предстояло сойти вниз.

Иван КУЗЬМИЧЕВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Правда, не все русские писатели пребывали в бегах. Чехов жил в Мелихове и Ялте и еще, по слухам, прикупил два или три участка под дачи. Прочно осел в Коктебеле Максимилиан Волошин, этот, казалось бы, самый бесшабашный декадентский поэт, и приютил у себя многих бездомных литераторов. Застрял в Старом Крыму, в какой-то крошечной мазанке вечный скиталец Александр Грин. Быть бы добрым соседом Волошину Ивану Шмелеву, если бы красные ни за что ни про что не расстреляли в Феодосии его больного сына. Сам Горький одно время серьезно присматривался к волошинской затее, но его волею судьбы качнуло на Запад, к которому он, что греха таить, питал некоторую слабость. В конце концов нет ничего дурного в том, что и нынешние московские писатели стали обустраиваться на Сетуни, в Переделкине. Бегством с бытом не справишься.

Степан Павлович Рябушинский и архитектор особняка Федор Осипович Шехтель, к слову, друг А.П. Чехова, наверное, не меньше других ненавидели непривлекательный российский быт. Но они в исторической части Москвы, на стыке двух архитектурных структур — Белого и Земляного городов, или Скородома, возвели своего рода Китеж, в котором «быт», кухню и прочее, с ней связанное, упрятали под землю, в подвал, откуда блюда подавались в столовую по специальному подъемнику. Все это сохранилось.

Горький как истинный сын своего века (человек выше сытости) бытом не интересовался, не интересовался и подзащитным частью своего жилища. Он не знал и до сих пор не знает, как попадает на его стол пища, готовят ли ее в подземелье или доставляют из Кремля.

Отделена от особняка и другая часть «быта» — хозяйственный двор и его составляющие: конюшня и каретный сарай, дворницкая, прачечная, жилые помещения для obsługi, сараи. Они невысоки, не превышают двух этажей, и своей приземленностью оттеняют и подчеркивают устремленность кубовидных объемов здания вверх, особенно той ее части, которая увенчивается башней.

В башне (Горький это знает) находится моленная, самое сокровенное место Китежа Рябушинского. К ней ведет потайная лестница, освещаемая узкими окнами, хорошо видными со Спиридоновки и хозяйственного двора. Хозяйственный двор отделен от основной части усадьбы прозрачной решеткой, точно такой же, какая огораживает весь Китеж. Но если керчацкий Китеж скрывается от глаз людских, то московский, напротив, оголяется со всех сторон, откровенно демонстрирует свою красоту.

Нельзя сказать, чтобы Алексею Максимовичу была по душе эта откровенность, и потому он редко появлялся в саду, а когда все же выходил, то старался держаться поближе к решетке хозяйственного двора.

Поражала Алексея Максимовича безлюдность этого двора, его пустыньность. Но она была обманчива. Просто люди, обслуживающие дом, должно быть, обладали свойством американских полицейских: их не видно, но в нужный момент вырастали как из-под земли. Помнит, еще при жизни Максима пришел на Никитскую Бухарин. Парадный вход был закрыт. Николай Иванович поленился идти в обход, перемахнул через ограду и тотчас же оказался в цепких руках то ли дворника, то ли истопника, и Максиму пришлось вызывать высокого гостя и извиняться перед ним.

Китеж Рябушинского демонстрировал то, что следовало демонстрировать, и прятал то, что показывать не хотел. Башню, которая увенчивает здание и в которой находится моленная, нелегко разглядеть с земли. Ее скрывали от недобрых посторонних глаз те самые карнизы, которые поприветствовали сегодня Алексея Максимовича если не как хозяина, то как доброго старого знакомого.

Алексею Максимовичу не приходилось бывать в башне, но Максим туда забирался, и, видимо, не один раз. Эффект, по его словам, поразительный, особенно по утрам, когда разноцветные витражи осветительного фонаря играют всеми цветами радуги и оживляют темные лики святых. Горький тоже хотел побывать там, но его всячески отговаривали и Максим, и Крючков, пугали крутизной лестницы и беспорядком, который учинили и в ризнице, и в моленной, должно быть, местные атеисты, когда в особняке располагались сначала отделы Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР, потом Государственное издательство под началом В.В. Воровского. Размещались здесь и Психо-аналитический институт, и детский сад для отпрысков партийно-правительственной верхушки, и Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, пока в 1931 году здание не было передано для Горького и его семьи. Одним словом, непрошенных посетителей и постояльцев у тайной обители Рябушинского хватало.

Воспоминания разволновали старого писателя. Он заходил по кабинету, раскашлялся, закурил, чтобы сбить кашель, и взял из шкафчика наугад, не глядя первую попавшуюся пластическую мелочевку. Осторожно и нежно ощупывая фигурку из слоновой кости, он пытался угадать, что это за создание, не угадал, но не рассердился, а рассмеялся: богато его собрание.

Неудача с разгадкой почему-то успокоило его, и он решил лечь спать. Войдя в спальню, Алексей Максимович нажал на включатель. От ослепительного верхнего света широкая кровать под темным покрывалом, казалось, чуть дрогнула.

— Здравствуй, распутница, — поприветствовал писатель свою старую приятельницу, которую почему-то прозвал «балериной», и присел на край кровати. На тумбочке как стоял, так и стоит фотопортрет Марфиньки, последняя работа Максима. До него в этой же рамочке находилась фотография сына. 11 мая 1934 года, в день его смерти, Алексей Максимович вынул карточку и спрятал в ящике тумбочки. Открывав сейчас тумбочку он не стал, но решил, что завтра же побывает на могиле сына.

На глаза попались Бурьга и Яков Пигунок. Писатель давно забыл, что натворили эти два деревянных уродца в ранних рассказах Леонида Леонова, но они частенько